

ИРИНА РАКША



“АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ!..”

РАССКАЗ

*Поклонимся великим тем годам!
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!*

М. Львов

Вы когда-нибудь жили под столом? Нет? А я жила. Под нашим круглым, а вернее — овальным, стоящим посреди комнаты. Это интересно и поучительно. Скатерть спускалась со всех сторон почти до самого пола, и я в своём уютном маленьком мире была хозяйкой. Это был только мой мир, мой театр с ватными, самодельными игрушками послевоенных лет. Бесценные пупсик, утёнок, снегурка из ваты, тряпочный заяц. Ножки большого круглого стола соединяли деревянные перекладыны-перекрестия, образуя четыре грушечных комнатки. Спальню, столовую, кабинет, детскую.

А вокруг этой моей личной игрушечной квартирки располагалась наша с мамой комната. С оранжевым абажуром над столом, чёрным маминым

РАКША Ирина Евгеньевна родилась в Москве в 1938 году. В 1959-1960 годах училась на агрофаке в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В 1967 году окончила сценарный факультет ВГИКа, а в 1975-м — Высшие литературные курсы Литературного института им. М. Горького. Прозаик, кинодраматург, член Союза журналистов. Автор книг “Весь белый свет”, “Далеко ли до Чукотки”, “Скатилось колечко”, “Сибирские повести”, “Охота на волков” и других. Живёт в Москве.

пианино у стены и окошком, смотрящим в убогий останкинский двор. А входная дверь выходила в длинный барачный полутёмный коридор. Электролампочки воровали, да и часто перегорали. Со множеством соседских дверей, порой обитых старыми ватными одеялами. И общей жаркой и душной кухней, полной хлопотливых хозяек, крика и гама. Запотевших оконных стёкол, столов и полок, горящих керосинок и примусов, мокрого белья на верёвках. В кухне вечно что-то происходило: стиралось, варилось, кипело.

Но тогда главная радость была — радость Победы. Страшная четырёхлетняя война с фашистом осталась уже позади. Приходили с фронтов герои-победители в орденах и наградах. Правда, из ушедших на фронт мужчин возвращалась только треть. Да и то среди них оказывалось полно инвалидов: безруких, безногих, безглазых. Как, например, наш безногий сосед, гвардии сержант, артиллерист Михаил Разумов, муж тёти Клавды, а попросту дядь-Миша. У него на культях ног были самодельные чехлы из кожи старых сапог...

А наш папа-танкист был, на наше счастье, жив и здоров, но пока ещё не вернулся с армейской службы. И мы с мамой так его ждали! Хранили каждую бесценную весточку с фронта. Сперва это были просто скудные треугольники из бумаги с адресом армейской полевой почты. Но и ответные письма мама старалась как-то украсить. И чтобы порадовать папу-танкиста, посылала на фронт “мою ручку”, положив её ладошкой вниз на листок бумаги: “А ну, растопырь пальчики”. И карандашом мама старательно обводила каждый мой пальчик. И папа на фронте был счастлив и горд, получив из дома такое письмо-подарок. А потом, когда наши войска с боями шли уже по Европе, от папы стали приходиться красивые трофейные открытки. Умилительные, сусальные розочки, банты, букетики. “Дорогая Нинуся, надеюсь скоро вернуться. Береги нашу дочурку...” И мама меня берегла. Часто запирала дома на ключ.

Я любила “жить” под нашим круглым столом, особенно тогда, когда к маме порой приходили гости. Их ноги, в валенках и бурках, туфлях и ботинках становились и моими гостями. Они окружали, двигались вокруг меня. И у каждой пары — своя отдельная, занятая роль. А разговоры взрослых, что наверху, так интересно слушать. Словно два разных спектакля одновременно разворачивались передо мной. Громогласный взрослый и молчаливый детский.

Но больше всего я любила, когда к маме приходила её верная подруга Кеточка. Иначе говоря, тётя Катя-маникюрша. В старых маленьких туфельках. Свои галоши она всегда оставляла у дверей. Мама любила Кеточку, которая работала неподалёку, в останкинской парикмахерской. Возле рынка и дворца графа Шереметьева. Они с мамой часто играли в карты. И не просто в подкидного дурачка, а тихо и умно раскладывали на скатерти пасьянс. И всегда гадали на любовь, на судьбу, на червонного короля. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. И это “чем сердце успокоится” им было так важно знать, тем более в это жуткое время. И добрая Кеточка всегда старалась нагадать маме счастье. Червонным королём был, конечно, мой папа. Когда, наконец, он вернётся? А Кеточка? А Кеточка была вдовой. Похоронку на мужа получила в первый же год войны. И несмотря на одиночество, ухоженная, миниатюрная Кеточка хотела быть всем нужной, старалась со всеми быть приветливой. Хотя была совсем-совсем некрасивая. С бельенкой, зализанной сладким сиропом волнистой укладкой на лбу. И аккуратным перламутровым маникюром. А когда в гости к нам приезжала из центра города моя бабушка (где они жили с дедушкой в старинной квартире) и заставляла у нас маникюру, всегда ей советовала:

— Вы знаете, Кеточка (бабушка первая так её назвала), каждая дама должна уметь превращать свои недостатки в достоинства. Я, например, вам советую носить платья с декольте сзади. На спине. Посмотрите, какая у вас идёт великолепная линия от шейки на спину. И делайте это декольте глубже, не стесняйтесь. Это красиво. Могу посоветовать вам одну знакомую портниху. Бывшую белошвейку.

Жила Кеточка где-то возле Рижского вокзала на 1-й Мещанской. А работать ездила на трамвае к нам в Останкино, в маленькую парикмахерскую.

Она находилась у пруда рядом с Шереметьевским дворцом, вход в который стерегли два каменных льва. И мы с мамой порой ходили в этот нелепый “салон красоты”. Мне очень нравились такие походы. Парикмахерская всего в одно горизонтальное окно и одну дверь с тремя ступеньками. Справа и слева её теснили керосиновая лавка и ларёк “Стеклотара” по приёмке пустых бутылок. И в ларёк, и в лавку всегда стояли очереди. Мужики сдавали пивные бутылки, а бабы — молочные. Да и керосин всем всегда нужен, ведь газа тогда в Москве ещё не было. За всем тогда стояли очереди, и всё по талонам и карточкам. За хлебом, комбижиром-лярдом, за керосином.

При входе в парикмахерскую нам с мамой сразу ударял в лицо тёплый необычно острый запах палёных волос и химии, ацетона и лака, мыла и одеколона. Запах нездешней, диковинной красоты.

В этом “салоне” всё начиналось с моей детской стрижки. В такие моменты я чувствовала себя настоящей дамой. Всё внимание было ко мне. И главной парикмахерши Зинаиды, и маникюрши Кеточки за своим столиком. И посетителей, сидящих под колпаками и делающих электрическую шестимесячную завивку. Для маленьких детей-посетителей Зинаида всегда доставала доску и клала её на подлокотники кресла перед высоким зеркалом. И, легко подхватив меня подмышки, сажала на эту доску. А я ставила ноги в валеночки на сиденье.

— Ну что, красавица, — спрашивала полногрудая Зинаида, — как будем стричься? Под бобрлик, фокстрот, бокс, полубокс?

Я терялась, не знала, что выбрать, ведь всё это были мальчишечьи стрижки. Помню, как бабушка говорила, что в старину мужчин и мальчиков стригли “под горшок” — надевали на голову горшок поглубже и волосы стригли ножницами по кругу, по краю. Девочки же в гимназиях носили косы. Но мне до их лет ещё было ох как далеко.

Мне на помощь приходила мама:

— Давайте стричь как прошлый раз, “под Татьянку”.

И я с внутренним облегчением ликовала. Это значило ровная чёлочка до бровей. Большие холодные ножницы Зинаиды щёлкали почти по моему лицу. По кругу, то надо лбом, то над ушами. Порой Зинаида задевала меня своей тёплой, мягкой грудью. То за одно плечо, то за другое. А отрезанные прядки волос приятно щекотали нос и щёки. И это приятное колдовство продолжалось недолго. Зинаида в конце снимала с меня и стряхивала накидку, и опять, легко подхватив подмышки, ставила на пол:

— Всё, красавица, “Татьянка” готова.

На этом внимание ко мне кончалось. А жаль.

В этой маленькой парикмахерской всегда было парко и тесно. Три стула у стены вечно заняты. Там под колпаками женщины делали тогда очень модную шестимесячную завивку. Ах, уж эта мода! Завивка действительно целых полгода держалась мелкими кудрями на любых волосах. Потому и называлась шестимесячной. Каждая прядь накручивалась на металлический патрон. А дальше начинало работать электричество, которое и нагревало эти патроны, эту каждую прядку. А высокий блестящий колпак из металла превращал каждую клиентку почти в египетскую царицу. Так они и сидели в ряд, эти египетские останкинские Нефертити. Мама такую модную завивку не делала. Она сама дома, стоя перед зеркалом шкафа, укладывала из волос валики. По паре надо лбом и висках. И мне это нравилось больше, чем мелкие завитушки, как воронье гнездо.

Кеточка с мамой сидели за волшебным столиком друг против друга. Рожок настольной пластмассовой лампы ярко освещал их руки и рядом множество маленьких цветных пузырьков с лаком. Красным, малиновым, розовым, перламутровым. Мамины красивые пальцы в чашке с горячей пеной. И Кеточка, склоняясь, колдует над каждым пальцем, словно хирург, с щипчиками или пилкой. И когда, наконец, чародейство закончено, Кеточка выпрямляется, облегчённо вздыхая:

— Ну, какой цвет мы сегодня предпочтём? Может, малиновый? Вот какой интересный цвет я разыскала недавно.

— Да, мамуля, малиновый, малиновый! — радуюсь я, стоя рядом.

Но мама словно не слышит, сомневается:

— Малиновый? А что скажут мои музыкальные ученицы? Нет, Кеточка, давай, как всегда, сперва розовым, а потом перламутровым.

Я думаю: “Ну, ладно, хотя бы этим. Драгоценным. Перламутровым. Тогда уж два раза”. Однако мама вздыхает:

— К сожалению, всё равно до первой стирки.

В наш шестой барак на 3-й Останкинской мы возвращались буквально преображённые. Мы шли через колхозный Останкинский рынок. И правильно мама сказала про маникюр, что красота эта до первой стирки. Стирала не только мылом. Каждый кусок был дорог. Но и щёлочью, древесной золой, вынутой из печей. Золу разводили в воде, и она отмывала грязь не хуже мыла. Стирка этой золой и правда быстро съедала любой маникюр. Обычно женщины стирали бельё на кухне, в тазах или корытах. Серые, жестяные, они висели в коридоре почти у каждой двери. Постыранное бельё хозяйки возили на колонку, а чаще на санках в корыте — к Останкинскому пруду. И там, в проруби, польные прополаскивали дочиста по многу раз. Полоскали красными задубевшими от холода пальцами в ледяной воде. И потом это бельё, постельное или исподнее, сохло, проветривалось на чердаке или на кухне, а чаще белело во дворе на зависть всем. Какой уж тут маникюр...

А рынок наш располагался между храмом Живоначальной Троицы и роскошной усадьбой графа Шереметьева, с одной стороны, и шестью бараками лимитчиков строителей ВСХВ — с другой. Чего только не увидишь на этом колхозном рынке! И хотя он совсем небольшой, но было тут всё: и лавки-прилавки, открытые, крытые, толкучка и барахолка, ларьки. О, этот сказочный мир богатства и бедности, блеска и нищеты! У меня буквально разбежались глаза. В крытом павильоне, в коротком молочном ряду деревенские тётки в фартуках поверх ватников торговали в разлив молоком в железных бидонах. А ещё там же на прилавке стояли привезённые ими стаканы с ряженкой. И в каждом этом гранёном стакане на светлой поверхности темнел лакомый кусочек коричневой пенки. Сплошная зависть и восторг. Но мама уверенно говорила:

— Нельзя, это не для детей. Там сплошные микробы. — И уводила меня за руку, а мне так хотелось попробовать этих микробов...

А ещё на рынке на одном из прилавков сидел целый отряд глиняных одинаковых чудо-кошек-копилек. Таких красивых, что просто глаз не отвести. Чёрных, рыжих и серых. Все с лукавой улыбкой на мордашках, с одинаковыми зелёными чудо-глазами, которые, казалось, подмигивали только тебе. И с хвостами, закрученными вокруг лап. И лишь на груди у каждой был нарисован бант разного цвета. Красный, зелёный и даже в горошек. Они каждого зазывали: “Бери, покупай меня!” Я была влюблена в этих кошек. Так бы и обняла всех сразу, словно живых, сгребла бы, прижала к груди. Мечтала иметь хоть одну такую у себя под столом среди игрушек. Но мама и тут тащила меня за руку от прилавка, шептала:

— Фу, какая безвкусица!

И всё-таки однажды эта моя мечта осуществилась, но это уже потом. И связана была эта нечаянная радость с нашим соседом-калекой по дому дядь-Мишей. Кстати, на рынке он работал в своём уголке под навесом при выходе к нашим баракам. Он, безногий, сидел за прилавком, а вокруг стояли миски, кастрюли, чайники и даже порой самовары, их приносили хозяйки со всей округи. И всю эту дырявую утварь он возрождал: клепал, запаивал, варил-сваривал, даже лудил. И потому на рынке его звали Миша-жестящик.

Сюда к нему приходили и его приятели, все рода войск со всей округи. Тоже инвалиды на костылях, на тележках, на деревяшках. В ватниках, в старых армейских робах, в шапках-ушанках со следом от звёздочки надо лбом. Фронтовые эти ушанки служили народу ещё очень долго. Приходили поговорить, махорочку покурить. Повспоминать пехоту и танки, и гром батарей, поражения и победы. Смесь, травил окопных байки. Но про баб не шутили. Бабы — дело святое. Тем более кого-то жёны приняли, кого-то — нет. И тогда калека жил примакком у родни или чужих людей. Кто за угол

платил, кто за койку, кто Христа ради. Но именно про них, “чайников-самоваров”, звучало горькое присловье: “Без рук, без ног на бабу скок”. Почти всегда друзья-вояки приносили за пазухой бутылёк-пузырёк самогона, купленного на разлив. Тёплого и оттого на вкус противного. Желая “законно” выпить свои “фронтовые сто грамм”. А иногда несли даже магазинную бутылку красненького, чаще портвейна “Три семёрки”. На такие случаи Михаил держал у себя под прилавком пару толстых гранёных стаканов. С гладким, круглым краем-полоской. В отличие от просто гранёных, такие стаканы были на двадцать граммов объёмней, и за эту их щедрость эти стаканы в будущем назовут “маленковскими”.

Пенсия у инвалидов была такая маленькая, такая копеечная, что не хватало порой на кусок хлеба, не говоря уж о семье. И приходилось нищенствовать. И вчерашние герои, часто орденосцы, прошедшие горнило войны, ходили по вокзалам, по электричкам, поездам дальнего и ближнего следования. Порой с табличками на груди вроде: “Товарищи-граждане. Помогите фронтовику на пропитание. У меня дети и мать старуха”. Нужно же было как-то добывать для семьи копейку. Кто пел, кто плакался, протягивал кепку, кто играл на баяне. А слепые виртуозно играли на губных трофейных гармошках. Весёлые танго-фокстроты, мелодии из оперетт “Марица”, “Сильва”. И сразу, подряд могли гордо, торжественно заиграть гимн Советского Союза: “Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...” А впереди них обычно шёл мальчик-поводырь и не по-детски серьёзно смотрел взрослым в глаза.

— Мы живые, хоть калеки. Но ещё мы человеки. Не желаем умирать!

Песни их всё были слёзные, жалостливые, пронзительные, связанные со вчерашними боями:

*Я вернулся с войны,
А жены моей нет.
Вышла замуж она за другого.
Вещи все продала
И детей забрала,
Чтоб не видеть калеку больного!*

Милостыню просили по-разному. И подавали по-разному. Кто сразу и от души, кто не глядя в глаза просящему. А кто вообще отворачивался к окну, будто это его не касалось. И нищие не обижались, понимали — народ-то сам был нищий. И постояв немного, шли дальше. Из вагона в вагон.

Или вот такие куплеты:

*Здравствуй, папочка.
Пишет Аллочка. Мама стала тебя забывать,
Стала модничать и кокетничать,
С офицерами стала гулять...*

А один останкинский друг устроился ещё лучше. Он завёл морскую свинку — вытаскивать из коробки “счастье”. Конечно, это была не свинка и не морская, а простой полевой суслик. Рыженький симпатяга. “Письма счастья” умели вытаскивать и попугаи. Но в зоомагазине они были дороги. А сусликов полно в каждом поле, в каждом овраге. И этот учёный зверёк за хлебный шарик или пару варёных горошин, блестя чёрными глазками, охотно вытаскивал из коробки двумя острыми зубками сложенный листочек с написанными чернильным карандашом предсказаниями. Один из многих. И счастливица (гадали ведь одни бабы), развернув и волнуясь, читала вслух свою судьбу:

— По дальней дорожке жди бубновую даму с радостной вестью. Встречай хлебом-солью, да не гневи.

Были даже стихи, переписанные их книжки: “Ты ещё жива, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет”. Или “Плохой человек обмануть тебя хочет. А человек хороший не даст”. Или “В последнюю среду после

зимы придёт к тебе король треф. Глаза серые, зуб золотой”. И у этого инвалида какое-то время всё шло хорошо. Он носил клетку со “свинкой” по вагону и продавал “счастье.” Но однажды “свинка” почему-то издохла. И хозяин загоревал так, что на горе родным горько запил. А другого суслика ловить и учить не захотел.

А ещё на рынок к Мише-жестянщику иногда приходил гвардии лейтенант Егоров, танкист с Хованской улицы. Он дошёл до самого Будапешта. Пил редко, всё-таки образованный, комсостав. И курил не как все — рассыпную махорку-махру в кисете, — а угощал всех дорогими папиросами в коробке “Казбек” с картинкой: силуэт джигита на коне на фоне гор и синего неба. И через минуту коробка пустела. И только Миша среди всех не курил. Он бросил ради жены, которая терпеть не могла табачного дыма.

Подшучивал, обращаясь к жестянщику:

— Ну что, Михаил Архангел? Живы будем — не помрём? Ничего, держись. Скоро нам прибавят пенсию. Добьёмся.

Хотелось ему ответить, как мать в деревне говаривала: “Твоими бы устами, да мёд пить”. Но смолчал. А про небесного заступника Михаила Архангела Миша знал лишь то, что сам был крещён во имя его. Мать крестила своего сына-первенца тайно в день Архангела Михаила в соседнем селе, где большевики тогда ещё не сломали церковь и не расстреляли батюшку. Да и сама губерния именовалась Архангельской в честь небесного воителя и заступника Архангела Михаила.

А серьёзный Егоров с костылём и на своей ноге-деревяшке по поездом почти не ходил. Он всё писал и посылал чуть ли не в Кремль какие-то просьбы и обращения. Насчёт прав и статуса инвалидов. И верил в победу.

На фронте Егорову повезло больше, чем безногому Мише. И теперь, комиссованный, одноногий, на деревяшке в виде стакана, он не просил милостыню по поездом. Лишь порой играл на своём трофейном красавце-баяне с планками из перламутра в Шереметьевском парке на танцплощадке или в городских трамваях. Ах, как Миша ему завидовал! Если бы у него, как у этого лейтенанта, была хотя бы одна нога! Вот бы счастье! Михаил не любил вспоминать тот бой, когда проклятый фриц расхреначил его батареею — не успели уйти, точку сменить. А главное, эта фашистская гадина погубила его друзей, весь расчёт, с кем прошёл почти до Праги. И ефрейтора, и рядовых. А его самого отшвырнуло куда-то в лесополосу. И очнулся он уже в госпитале. И даже не сразу понял, что он без ноги. Что он калека.

А как горячо, как упрямо молил хирургов сохранить ногу вторую, изувеченную! И врачи старались. Очень старались. Но врачи не Боги — началась гангрена. И пришлось спасать саму жизнь. И после нескольких ампутаций остаток его ноги стал мал уже до предела. А дальше пошли месяцы лечений по разным госпиталям и больницам...

— Повезло же тебе, Разумов, гвардии сержант. Видно, любит тебя Господь, — усмехался главврач, подчистую выписывая его на волю из последнего лазарета. — Моли Бога, что жив остался. Ещё и за девками гонять будешь... Семья-то ждёт тебя?..

И Михаил кивнул неуверенно. Он помнил слова: “Если не встретимся — помни. Если вернуся — встречай...”

А вот руки! Его молодые, здоровые, сильные, с детства привыкшие к труду. Как говорится, Михаил всегда был мастер на все руки и сейчас не мог, чтобы они, ловкие, умелые, простаивали без дела. И разве можно с такими руками просить милостыню? И потому, вернувшись, брался за всё: слесарничал, даже сапожничал. В своём доме соседям он всё чинил даром. Точил ключи, чинил замки, примусы. Мне, например, бесплатно подшил протёртые старые валенки. В подарок. Мы с ним были большие друзья. Оба маленькие, одного роста. Когда сталкивались в коридоре глаза в глаза, я слышала всегда бодрый голос:

— Ну что, Нюрочка, не истёрла ещё свои валеночки? Мою работу.

— Да что вы, их теперь до смерти не сносить!

И вообще, сидя под столом, я могла даже определить, трезвым или пьяным он возвращается домой к своей жене Клавье, определяла по стуку его

колёс в коридоре и по стуку деревянных поручней в его кулаках, которыми он отталкивался. А потом с горечью слушала за стеной Клавин голос:

— Когда же, наконец, кончится эта пьянка?! Как же это всё мне надоело!

Очень тонкие были у нас перегородки. Всё слышно, что творится и у других соседей. Хотя соседка Клава была добрая. Ругалась редко. У неё даже возле комода в углу иконка святая висела за шторкой, чтобы соседки в лихолетье этого страшного атеизма не донесли куда надо. А при ребёнке она молилась не боясь.

Дядь-Миша почему-то называл меня Нюся, Нюша, Нюрочка. А мама звала меня Аня. Когда сердилась, то строго: Анна. А бабушка всегда Анюточка, Анечка. Это, оказывается, одно и то же. Нюра и Аня. А по-моему, ничего общего. Нет ничего созвучного. Но от дядь-Миши мне всё было приятно. Хоть Нюра, хоть Нюша.

Вот у них-то, моих соседей, дядь-Миши и Клавы, на комод, на самодельно-вязанной из ниток скатерти, сидела моя мечта — глиняная красавица кошка-копилка с рынка. Она гордо, по-царски сидела и улыбалась. Между двух белых бумажных роз в вазочках и меж флаконами из-под одеколона “Кармен” и “Красный мак”. С большим розовым бантом на груди и прорезью для денег между ушами. Иногда Клава бросала в неё монетки. И очень редко — бумажную денежку, туго сложенную во много раз. Однажды и мне мама разрешила бросить туда монетку. И та внутри звонко стукнулась. И эта моя лепта, эти мои три копейки потом как бы навсегда свяжут меня с судьбой моих соседей.

Однажды Клава с радостью сказала:

— Знаешь, Миш! А ты ведь нынче подработать можешь. Я тут недавно парикмахершу Зинку встретила из первого корпуса. У неё в выходной свадьба. Просила тебя поиграть. Обещает заплатить. Да и едой взять можно. Хотя лучше бери деньгами.

— А во сколько? — с охотой отозвался он.

— Да вечером, вроде, часам к семи.

И он согласился на очередную халтуру.

Конечно, после войны в голодное время людям было совсем не до свадеб. Но парикмахерше Зине очень уж не терпелось занять мужа.

Комнатка у невесты Зинаиды была маленькая. Часы-ходики, тумбочка с патефоном и несколько пластинок, этажерка с книгами, койка с высокой горкой подушек. На случай свадьбы столы для гостей были составлены из кухонных и соседских и выходили через раскрытую дверь дальше по коридору. А накрыты скатертями и даже белыми простынями.

Гулял на свадьбе весь первый барак. И всё беднота со всей страны. Русские, татарки, мордва, хохлушки. И эти хозяйки-соседки, принаряженные, приглаженные к празднику, в лучшем, что было в шкафах, носили к столу съестное. В это голодное время чего только не было в этих мисках-тарелках. И ведь все разносолы эти — со своих огородов. Вон с того самого поля, что у Останкинского пруда, видного вдаль за окном. И нехитрая их еда и закуска, по договорённости с Зиной, являлась их подарком (свадьба вкладчину). А алкоголь Зинаида покупала сама, насколько мог выдержать её карман. И вообще соседки гордились своей москвичкой, уверенной Зинаидой, к тому же парикмахером, очень культурной. У неё даже патефон был с пластинками и книги.

Еды оказалось много. Картошка жареная и варёная, капуста квашеная и огурцы солёные. Драники из картошки белорусские, оладьи из тыквы мордовские, винегреты из красной свёклы и даже пареная репа. Была тут и килька, умело жаренная на комбижире. Она же тылька, она же хамса. Глядя на такой чудо-стол, и не скажешь, что жрать в стране нечего, что в послевоенные годы очереди стоят за хлебом, жиром-лярдом, смальцем, за керосином.

Посуда тоже соседская, общая. Вилки-тарелки-стаканы расставлялись усердно как можно красивее. Мужиков за столом почти не видать. Полегли на фронтах войны. Сидели лишь жених, несколько стариков, да там и сям

мальчишки-подростки липли к матерям. Всем заправляли бабы, старухи да незамужние ядрёные девки. Суетились. Бегали, накрывали столы. Меж тарелок ставили квас, графинчики самогона, бутылки с красным портвейном.

А уж шуму-то было, звону-то, говору! И полногрудая невеста, парикмахерша Зина, была ох как хороша, лучше всех. На её шестимесячных кудрях вместо фаты белела кружевная накидушка с её подушек.

И вот, наконец, приехала музыка. На своей тележке явился гармонист дядь-Миша. Со своим инструментом на плече, увязанным в головной женский платок. Как же все обрадовались, как загалдели при виде его, предлагая за столом почётное место. А он неспешно, солидно явился, как на работу. Выпростав из платка гармонь-кормилицу, отстегнул тележку с колёсами и привычно, легко вскарабкался на стул. Как всегда, левой рукой он брался за сиденье стула, правой — за высокую спинку и подтягивал своё тело на сиденье. За столом, сидя рядом с людьми здоровыми, Михаил чувствовал себя хорошо. Растопырив обрубки ног, закинув на плечо ляжку гармошки, умащивал на груди свою любимую тальянку. Сперва взял два-три несмелых аккорда. Раздались первые необычные, праздничные звуки. Взлетели над головами, как птицы. А умелые пальцы начали бегать по кнопкам вверх-вниз, вверх-вниз живо и весело. Открыть праздник он решил своей любимой фронтовой песней. И он запел своим красивым, глубоким голосом:

*Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...*

Эта песня была как бы о нём, его собственной, родной. Это он смотрел на горячее пламя в печи, на дрова, которые плакали его слезами.

*Ты теперь далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.*

— Ну, что ты, Михаил, разводишь тут слёзы-печаль? — возмутилась Зина. — У меня всё-таки свадьба. Давай что-то повеселее.

И он заиграл разудалую, военную, тоже любимую:

*По Берлинской мостовой
Кони шли на водопой.
Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.
Распевает верховой:
“Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих из чужой реки”.
Казачи, казаки, едут, едут по Берлину
Наши казаки.*

И вот тогда свадебный вечер стал расцветать, разгораться. Все подхватывали пение гармониста. За суровые годы войны так соскучились, истосковались по веселью, по музыке, празднику. И закричали, глядя на молодых: “Горько! Горько!” И разливали самогоночку и портвейн по стаканам и стопкам. И в первую очередь, конечно же, гармонисту. И он опрокидывал их, не закусывая...

А жених оказался совсем не ахти. Прямо скажем, паренёк тщедушный, рыбой, с мелкими рыжими волосами. И где она только его такого вообще подцепила? Но Зина глядела на него так преданно, такими влюблёнными глазами. Ведь других-то в округе не сыщешь...

Он жил рядом с Останкино на Ярославке, с матерью в деревенском доме, окна со ставнями. На фронт его не взяли из-за какого-то внутреннего недуга. Дали “белый билет”. И он работал неподалёку на оборонно-промышленном

комплексе “Калибр”. Работал отлично на заводе, поставлявшем боеприпасы для армии. Невзрачный, лядащий, он стоял бригадиром у ленты транспортёра, подающего снаряды в соседний цех. Там на стене висел плакат “Всё для фронта! Всё для победы!” А из-за невысокого роста даже ящик подставлял под ноги. Несмотря на это, его красивый фотопортрет висел на Доске почёта среди других ударников, передовиков социалистического труда.

Но здесь, на собственной свадьбе, он казался как бы удивлённым всем этим шумным многолюдьем и суетой. Неужели всё это для меня?

И с любовью, с восторгом смотрел на свою большую невесту Зину. Неужели теперь это его жена, его женщина?

Михаил пел и играл всё, что помнил. Песни про берёзу-рябину, про деревню и город, про бои и победу. И вся свадьба, весь дом дружно, радостно подхватывал и пел с ним вместе. На разные голоса. Он был свой среди своих. А за этими песнями перед ним вставали, мелькали, как в немом кино, кадры его собственной жизни в губернии Архангела Михаила, где он родился в деревенской избе, где рос в советской стране. Видел мать-отца, примерных колхозников. Это и спасло их от раскулачивания, от высылки в Сибирь. И всегда Михаил видел себя в работе, в любой. И в доме, и в поле. Как и потом на тракторах в МТС. Он так изучил и полюбил трактор, что мог вслепую его собрать-разобрать. Как и потом на фронте мог вслепую собрать-разобрать и автомат, и винтовку...

Потом были похороны его отца-матери. А потом вдруг пришло официальное приглашение и в МТС, и в сельсовет — по лимиту ехать в Москву, строить некую сельхозвыставку. Даже деньги давали подъёмные и не малые. И Михаил решился. Тогда его любопытства и оптимизма хватило бы на троих. И пристроив к соседям свою дворовую Жучку и распрощавшись со всеми не без печали, он, романтик, ринулся в неизвестное, как в прорубь, как из огня — в полымя. Но, в сущности, столицы он так и не увидел. В каком-то пригородном Останкине сразу пришлось класть кирпичи, строить красавец павильон “Нечерноземье”. И там же в общежитии, в общежитии он заметил девушку. Тоже лимитчицу, сибирячку. И такую пригожую, такую ладную Клаву-Клавочку, что сразу пришлась ему по душе. И два одиночества очень быстро сошлись. И задохнулись, обнявшись жадно и нежно. И поженлись. Помните, он всё покупал ей в подарок одеколоны. Треугольные пузырьки. “Красный мак” и “Кармен”. На этикетке смеялась страстная испанка с чёрным локоном-завитком на щеке. А вскоре (бывают же чудеса!) начальство ВСХВ выделило им на Третьей Останкинской улице в бараке для строителей выставки отдельную комнатёнку. (За выселением кого-то куда-то...) Но счастье молодых оказалось недолгим. Однажды из всех репродукторов прозвучал голос Молотова, и началась Великая Отечественная война с фашистской Германией...

Зинкина свадьба была в разгаре, шумела, галдела. И то и дело за столами кричали “Горько!.. Горько!..” Бутылки и графинчики кланялись, не вставая. Елось, лилось, пилось. И молодожёны целовались, уже не вставая. Полногрудая Зина наваливалась на жениха так, что за её широкой спиной его становилось не видно. И под звуки неумолимой гармоникой Михаила гости свадьбы, молодые и старые, и даже подростки, стали выскакивать, вылезать из-за столов и танцевать.

*На окошке два цветочка: голубой и синенький.
О любви моей не знают, только я да миленький.*

Танцевали не только в комнате, но и в коридоре. Справа и слева от комнаты молодых. Плясали, топотали, стучали в пол башмаками. Наступая друг на друга и отступая.

*Гитлер вздумал угоститься —
Чаю тульского напитокся.
Зря, дурак, позарился —
Кипятком ошпарился.*

И Михаил, продолжая играть, мысленно плясал вместе с ними. И дробно топтал в половицы. Он всегда — и во сне, и наяву — представлял себя прежним, с ногами, и не в крошечном бою, и не калекой, а в тиши на зелёном лугу, у своей деревни. Стройным юношей, идущим босиком по берегу реки, по росистой, как шёлк, траве. И даже ощущал её прохладу и свежесть. А порой видел себя в начищенных сапогах за рычагами в кабине трактора. Где-то на родной МТС.

И подавляя усталость, на кураже играл, наяривал на старой своей гармошке. Конечно, ему бы в руки сейчас такой чудо-баян, как у лейтенанта Егорова с широкими лямками по плечам. И звучный, и с узором из перламутра. Да где ж его взять? А главное, на какие деньги, на что? Не на жёнину ведь получку?

И он играл, наяривал на гармошке, он просто жёг, и сам с удовольствием пел-подпевал. И вокруг все громко, нестройно пели-орали на все голоса. И по всей Третьей Останкинской улице знали — это первый барак гуляет, свадьба.

И тут неожиданно и невпопад кто-то пропел в коридоре частушку:

*Эх, огурчики да помидорчики!
Сталин Кирова убил да в коридорчике.*

Но она проскочила как бы никем не замеченной. Да и позже никто ни на кого не донёс. Обошлось.

А когда охрипший Михаил на время переставал играть и клал усталые руки на гармошку, его заменял патефон, который заводили, покрутив ручку, ставили на крутящийся диск пластинки, то одну, то другую. И песни великих солистов времени врезались в разноголосицу свадьбы. Над столом воспарял зычный голос Руслановой.

Клава очень любила все эти народные, русские песни. А он любил Клаву. Её походку, и стать, и голос. И очень боялся её потерять. Особенно по возвращении из госпиталя. Ах, как он ждал и как боялся этой первой встречи! Примет — не примет? На вокзале. У всех на виду. Клава, узнав его издали, сперва замерла на мгновение и вдруг кинулась к нему безногому, упала перед ним на колени. А он, задохнувшись, сильными руками обхватил её родное тело и жадно, накрепко прижал к груди. И так они одним целым стояли, замерев и закрыв глаза. Голова к голове. И он ощутил сладостный запах желанной женщины. Почувствовал её целиком. Свою долгожданную Клаву. И все, кто стоял вокруг, глядя на эту пронзительную сцену, отводили глаза в сторону.

А к полуночи радость всё ещё не унималась. Всем хотелось ещё попеть, погулять. Бутылки то и дело кланялись, самогон и красное вино лилось по стаканам, звенело стекло. То и дело подносили и гармонисту. Праздник пылал в полную силу. И неважно, что за неимением кавалеров, под гармонь танцевали Шерочка с Машерочкой. Всё равно всем было весело от души.

*Я кукарача, я кукарача,
Мне ли быть иной?
Я не заплачу, нет, не заплачу,
Всё равно ты будешь мой!*

К утру свадьба, наконец, обессилела и угасла. “Горько!” — закричал было Михаил на прощанье. Но никто его не услышал. Всем было уже не до молодожёнов и их поцелуев. Да и сами молодые куда-то исчезли. Видимо, как им и полагается в такой день. Ночь за окнами таяла. Просыпался рассвет. И шумные подвыпившие хозяйки уже разбирали, разносили грязную пустую посуду по своим комнатам. Со столов стягивали испачканные, залитые вином скатерти-простыни. Помогая друг другу, тащили в кухню и по комнатам свои столы.

И пьяненькому уставшему Михаилу, вчерашнему вояке, вдруг отчаянно захотелось завершить этот праздник ударно, в радость. Такой песней, где всё

звучало бы победно. И имя вождя звало бы вперёд. И явь совпадала с мечтой. Именно эту песню он любил за силу и оптимизм. С ней шли на смерть и побеждали фашиста. И Михаил напоследок растянул меха, словно вздохнул, и громко запел, почти закричал на весь коридор:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!*

Над Останкино занимался морозный рассвет. Небо над Шереметьевским парком уже голубело. И в этой тиши пьяненький Михаил радостно катил к себе домой. Катил неровно, криво по тропе мимо ряда соседних спящих бараков. Он даже не вспомнил про свою армейскую шапку-ушанку, которую забыл на свадьбе. Ехал в лихо расстёгнутом ватнике с гармошкой на плече, оттапливаясь руками об утоптаный снег.

Он лихо пел про того, кто отдал приказ артиллеристам, а они бы и жизнь свою отдали за него, только приказы.

Дядь-Миша ехал и пел, и лишь самую малость боялся свалиться в кювет, в канаву. Потом поди, попробуй вылезти из сугроба. Да, сейчас культя его ног болели. Да, уставшие пальцы слушались плохо. В таких случаях дома жена грела ему на керосинке два ведра воды. И он, сняв кожаные чехлы, опускал обрубки ног в воду. И чувствовал, как постепенно боль отступает.

И в этих же вёдрах и ещё в тазу, что висел в коридоре у них над дверью, жена обычно мыла и его, предварительно закрыв дверь на задвижку. Как он любил эти минуты купанья! Тело благодарно помнило её руки, нежные, тёплые. А глаза — прядку её мокрых волос, упавших на милое лицо. Вместо мыла, которое было дорого, в ход тогда пускалась простая зола из печки, серая после сгоревших дров. Впрочем, щелочной, зольной водой в те годы стиралась и мылась беднота всей страны.

Сейчас у него на душе было несказанно радостно и светло. Праздник народа удался! И это он, вчерашний простой вояка, горестный инвалид, подарил людям, измученным годами войны, этот праздник.

Дома в тёмной комнате свет зажигать не стал, но понял: Клава не спит.

— Явился не запылится! — раздался с кровати её голос. — Напился всё-таки?

Он молчал. Раздевшись, отстегнув тележку и стащив чехлы с больных ног, двинулся было к белеющей в темноте высокой кровати. Он и правда понимал, что перебрал. Можно было, конечно, и стул подтащить и вскарабкаться. Но Михаил почему-то стал тянуть руки, стараясь схватить край одеяла.

— Фу, а перегаром-то как несёт! Вонница-то на весь дом.

А он всё двигался, всё прыгал вдоль койки туда-сюда, всё старался взобраться, подтянуть к себе одеяло.

— Ну, Клань... Кланя... Это всё-таки свадьба. У людей праздник, а не поминки, — оправдывался он. — Вот курить-то я бросил, как ты хотела.

— Свести у тебя нет, Михаил, вот что. Ты же обещал мне не пить.

Он уже подтянул к себе край одеяла.

— Ну, и с чем тебя отпустили оттуда, добытчик? С едой или с деньгами?

И тут он осёкся и, вздохнув, опустил руки.

— Клань... Ну, это же праздник души. А ты всё про деньги... Зинка обещала: “Приходи, — говорит, — в парикмахерскую в понедельник. Расплачусь”.

И Клава буркнула:

— Вот и мы с тобой поговорим в понедельник... — И, выдернув у него край одеяла, отвернулась к стенке.

В понедельник, когда Михаил появился в парикмахерской, там почти никого не было. На вопрос о деньгах Зинаида ему огорчённо сказала:

— Да, понимаешь, нечем мне платить тебе за игру. Нечем. Всё на выпивку истратила. — И помолчав, вдруг обрадованно добавила: — Давай лучше я тебе сделаю перманент? Ну, завью тебя. Завивку сделаю на целые шесть месяцев. Называется “перманент”.

Он молча соображал.

— Ты что, думаешь, мой перманент не стоит твоей гармошки?.. Да кто другой за мою завивку десять таких гармошек изотрёт. Давай залезай на этот вот стул. — Она грудью смело надвинулась на него. По-деловому цепкими пальцами взяла за волосы. — Смотри, какой у тебя волос-то крепкий, богатый. У моего-то рыжего волос пожизне будет. А у тебя кудри и под шапкой продержатся аж до весны... И всё бесплатно.

На прядки его волос она живо стала крутить бигуди. А затем, опустив ниже по стене блестящий колпак “Нефертити”, придвинула к его голове. Громко добавила:

— Ты у меня прямо как фараон будешь. Клавка твоя за такой перманент сто раз “спасибо” мне скажет. Такой раскрасавчик в доме появится...

И тут, услышав про Клавку, Михаил сдался.

— Ну, вот и всё. Смотри, красота-то какая! — сказала, наконец, Зинаида, глядя на него в зеркало. — Топай к жене. — И подала забытую на свадьбе его армейскую ушанку.

Дома Михаил, победно улыбаясь, сорвал с головы эту шапку. И подняв, высоко держал над собой. Но Клавдия, увидев его голову, всю мелким бесом, окаменела. Молча уставилась на него, неузнаваемого. Потом вдруг захохотала. Как-то неестественно громко, болезненно. И опять замерла на минуту. И опять засмеялась уже тише, кривя и кусая губу. А потом вдруг со слезами повалилась на койку, лицом в подушку. И горько, горько завывала:

— Господи-и-и-и!.. Ну, за что мне такое?.. За что мне всё это? Ой, мамочка-мама!.. За что?

Он молча пополз на своих культышках к комоду, достал ножницы. И не спеша, вслепую стал остригать свою шевелюру. Прядь за прядью весь перманент, шестимесячную свою красоту. И бросать эти кудри на пол вокруг себя. При этом жёстко, упрямо шепча:

— Ничего-ничего. Всё уладится, перемелется. Мужик я всё-таки или нет? Ладно. Я ещё докажу. Всем докажу, что Михаил Разумов — гвардии сержант артиллерии — ещё не списан, не выброшен. Ещё на что-то способен, чего-то стоит.

Собираясь на север, Михаил решил добавить денег на дорогу. Взял с комода тяжёлого глиняного кота с розовым бантом на груди, уже почти до горла полного монет. Но разбивать его пожалел, выбил дно, повредив лишь кончик хвоста. Мелочь звонкой горкой высыпалась на стол. Но, ещё не начиная считать, дядь-Миша позвал меня.

— На тебе, Нюрочка, зверушку. На память. Она ж тебе нравилась.

И я, не веря своему счастью, взяла в руки бесценную, пустую копилку и поцеловала в холодный глиняный нос.

И отправился дядь-Миша на родину подзаработать, как-нибудь подхалтурить. Для своей Клавы добыть хоть что-то на пропитание. Мужик он, в конце концов, или не мужик? И ведь, правда, мужик, раздобыл-таки кое-что. И через месяц, наконец, возвращался в Москву с изрядной ляжкой солёной конины в рюкзаке за спиной. И ещё со шматом сала, увязанным в тряпицу. Теперь им с женой хватит еды на долгую зиму.

С вокзала на Каланчёвке он ехал трамваем. А в Останкино от трамвайной остановки радостно катил в ватнике, в шапке на искромсанных, не отросших ещё волосах, к дому на своей тележке. Представлял, как тихо откроет дверь и воскликнет: “Кланя! А вот и я!” Или: “Кланя! Вот я и дома! Вернулся!” Но ещё издали увидел — в их окне света нет. Значит, его дорогая жёнушка ещё не пришла с работы. Ничего, это даже кстати, значит, у него есть время приготовиться к встрече. Однако, отперев своим ключом дверь, он сразу понял: тут что-то не так. Радио почему-то молчало. Цветок герани на подоконнике стоял сухим. Клавиной обувки на полу не видно. В шкафу, в шифоньере, на плечиках висела только его одежда. Рубашки, пи-

джак и бесценная армейская гимнастёрка с медалями “За отвагу” и погонями сержанта с тремя поперечными лычками. Под одеждой внизу одиноко темнела гармонь-кормилица. Возле комода в углу не оказалось Божьей иконы со шторкой. А на комоду возле пустых пузырьков из-под одеколону он увидел записку. В сумерках с трудом, недоумённо прочёл несколько слов, написанных карандашом: “Я уехала к маме навсегда. Не ищи меня. Я устала. Клавдия”.

Он долго неподвижно сидел на полу, привалившись спиной к краю аккуратно застеленной койки. Так плохо ему давно не было. За окном уже стемнело, слышалось, как за стенами привычно и безучастно живёт барак. Где-то плакал ребёнок, кто-то в кухне гремел посудой. А он всё сидел и сидел не шевелясь, не в силах двинуться с места, не зная, что делать. Стиснув зубы, со всей мочи сжал кулаки. Да так, что побелели пальцы. И, шаркая по половицам, пополз к двери.

По морозным улицам Останкино Михаил упрямо ездил в поисках своих друзей. По улицам, переулкам и тупикам: Хованская, Сельхозпроезд, Шеремтьевский тупик, — где, как он знал, обитали его приятели-инвалиды. Дома всё разные. И полудеревенские избы, и финские домики, и двухэтажные дачки богатых москвичей. Ведь зелёное Останкино было когда-то местом сугубо дачным, куда из центра города ходили даже конки о четырёх конях в упряжи, даже линейки. А теперь в этих прежде нарядных объёмных дачах жила гольфьба, лимитчики из глубинки и бедный посадский люд. И по всем адресам, куда Михаил являлся, ему отвечали разное и по-разному. В одном месте в форточку крикнули:

— Да пошёл ты отсюда со своими калеками! Не знаем мы ничего и знать не хотим!

А в другом месте, приоткрыв дверь, старушка запрочитала:

— Да уж нету касатика нашего, нет кормильца. Забрали прямо из дома. Под белы ручки. Спаси его Господи. — И слёзно всхлипнула: — Без него теперь хоть помирай.

А где-то Михаила и слушать не стали. В спину ему зло закричали:

— Да милиция всех дружков твоих, пьяниц, наконец, зачистила. Всех забрали. Спасибо, Сталин дал приказ, чтоб не позорить страну-победительницу.

А одна хозяйка, отводя глаза, заплакала:

— А наш Витя-слепой замёрз где-то в Малаховке возле платформы. Его из вагона какая-то тварь выбросила. Царство ему небесное.

А потом он вдруг услышал:

— А ты что, разве не знаешь? Их всех вместе в какой-то лагерь отправили. И ты не лезь на рожон. Отсиделся где-то, живой остался и радуйся.

А в другом месте ладная молодуха сразу же зарыдала:

— Ой, да не рви ты мне душу! Не рви... Чую, угробят их там, всех угробят.

Михаил, слушал всё это, не веря своим ушам, оторопело, недоумённо. Потом выругался:

— Ну, что за недоумки?.. Что за уроды? Какую-то чушь несут и несут.

И решил твёрдо, спокойно, без паники отправиться на Хованскую к лейтенанту Егорову. Всё-таки выяснить истину. Тот правду знает, и мужик трезвый, надёжный. Тот всё разъяснит, всё по местам расставит.

Было почти темно. Безветренно и морозно. На полудеревенской Хованской улице, упиравшейся в роскошь чугунной ограды сельхозвыставки, над домами столбом стояли дымы. И по этой пустой улице, постукивая колёсами, катил вдоль оградок Михаил. Уже из последних сил. Он замёрз, от долгих скитаний его натруженные культы болели, а стёртые в кровь ладони боли уже не чувствовали.

На Хованской дом командира Егорова был последним. Расписные ставни не закрыты, внутри теплится огонёк, и дым поднимался над крышей. Михаил с трудом просунулся в калитку и подкатил к крыльцу. Помедлив, постучал о ступеньки своим деревянным “утюгом”. Свет сразу погас, но дверь долго не открывали. Постучал ещё. Наконец, позвякав задвижками и замками, несмело вышла сухая старушка. Из-за её спины выглядывал любопытный

ребёнок. Она прикрыла дверь, чтобы не выпускать тепло. А на вопрос Михаила, озираясь по сторонам, скрипуче ответила:

— А ты, милочек, что? Ничего что ль не слышал? Арестовали моего сыночка на какой-то Таганской площади. Их всех там арестовали. Они там сходку устроили в защиту таких вот калеков. Туда даже конную милицию вызывали... Всех, всех разогнали. — Помолчала, сдерживая слёзы. — Позабирали кого где. И у нас тут в Останкино, и по всей Москве. — Она не спешила, видно ей очень хотелось поговорить о сыне. А Михаил замер и онемело слушал. — А куда потом их девали, не знаю. Бабы на рынке гуторили, вагоны на север куда-то угнали. С глаз долой. На остров какой-то. Валаам вроде какой-то. — Голос старухи стих до шёпота. — А дочке сказали в милиции, что навсегда. Приказали, чтоб даже не появлялась, не кланчила, а то саму заберут. Это мол, сам Сталин приказ такой дал. Город очистить. — Стоя на крыльце, старуха смотрела на него слезящимися глазами. — А ты, мил, сбежал что ль откуды? Аль прятался где?

Михаил оторопело молчал. Сердце в шоке прямо зашлось. А мать Егорова, постояв, вздохнула:

— Может, милочек, купишь его баян? Он с фронта привёз. И поиграл-то всего с годок. Почти что новый.

Но Михаил уже не слышал её. Молча ловко развернулся вместе с тележкой и покатил прочь к калитке. И дальше, дальше по улице. Катил, и в воспалённом его мозгу билась лишь одна мысль: “Всё... Вот и всё. Вот и кончились мои хлопоты на земле...”

А старуха не уходила. И мелко перекрестив его в спину, не мигая смотрела ему, неуклошке-квадратному, вслед мокрыми от слёз глазами. И ребёнок выглядывал из-за её спины.

Возвращаясь с гулянья, я развесёлая и румяная увидела его на крыльце. Спросила:

— А ты далеко собрался, дядь-Миш?

Он негромко ответил:

— К друзьям.

Я простодушно сказала:

— Давай я тебя провожу. Мама ещё на работе.

— Проводи, — согласился он. — Только недалеко. До поворота.

— Могу и дальше. Да самого пруда.

И мы пошли. Рядом. Старый и малый. Одного роста. В сторону Шереметьевского дворца и храма Животворящей Троицы. По утоптанной снежной дороге. Я, повязанная поверх короткой шубейки маминым шерстяным платком и в валенках, недавно подшитых дядь-Мишей, вышагивала чинно и даже с гордостью, что провожаю своего друга. Было уже темно. И он ехал рядом, скрипя колёсиками, отгалкиваясь о тропу руками. В ночи мы направлялись к пруду. Вровень друг с другом по скользкой дорожке, как по планете. И под лунной этой короткой наш путь в одну трамвайную остановку был словно освящён Божией благодатью...

А над нами, в ночном небе, как бы повторяя их земной путь, лежал путь Млечный, широкий и необъятный. Это звёздное небо, эта великая “книга между двух книг”. А ещё выше — уже непостижимый Покой Добра, Чистоты и Любви.

И оттуда, сверху, наверное, виделись внизу на белом фоне две малые тёмные точки.

Вот мы оба остановились.

— Ну что, Нюрочка? Что, доченька? — сказал он, впервые назвав меня так. — Проводила меня и спасибо. Тебе это зачтётся. — И, подумав, повторил: — Зачтётся... А пока беги домой. А мне к друзьям надо.

Его глубокие глаза, как никогда серьёзно, смотрели на меня.

— Дальше я уже сам.

Я послушно кивнула и легко побежала обратно. Но скоро остановилась и оглянулась. Мой друг дядь-Миша двигался почему-то не в сторону жилья, дворца и храма. А скользил прямо вниз под уклон берега к пруду. И дальше по дощатым мосткам, ведущим на глубину к проруби, где днём хозяйки

обычно полоскали бельё. И я услышала всплеск и глухой удар тележки о воду. Увидела, как он, замерев недвижно, погружается в черноту проруби. И пошёл под воду. Канул. И вода уже сомкнулась над его головой.

Я стояла, окаменев. А на маслянисто-живой поверхности закачался крест Божий — отраженье купольного креста стоящего рядом храма Живо-творящей Троицы. И это золотое сиянье креста всё качалось и качалось на чёрной воде. И я со страхом рванулась, бросилась к людям, к дому. Бежала изо всех сил, задыхаясь, с побелевшим лицом. Оскальзываясь, падала и поднималась, и бежала опять. В духоту тёплой кухни влетела в беспамятстве и, задохнувшись, замерла посередине. Затем махнула рукой в сторону пруда и лишь успела сказать:

— Там... Там... На пруду... Дядь-Миша...

Мои коленки ослабли, и я мешком повалилась на пол. Женщины кинулись ко мне:

— Господи, Нюся! Девочка!.. Да что с тобой?!

Развязывали на мне платок, стаскивали шубейку.

— К себе её отнеси, — говорила одна другой. — Её мать ещё на работе...

И, словно опомнившись, загалдели:

— А что с Мишей-то? С Михаилом-то что? Где он?

И, перебивая друг друга, засуетились:

— Что с ним-то? На пруду, что ли? Зачем? — Вспокоились и побежали...

А через год я пошла в первый класс. И перестала уже заикаться. И постепенно в бараке, в доме номер шесть по 3-й Останкинской улице всё улеглось, и вроде даже забылось.

В опустевшую комнатку Михаила и Клары жилконтора ВСХВ поселила многодетных беженцев. Войстину, свято место не бывает пусто. Семью погорельцев из Белоруссии. Их дом и всё их село фашист сжёг дотла. Мало кому удалось выжить. Убежать, скрыться в лесах. А тут им с детьми в Останкино даже комнатку дали. Крышу над головой. Вот уж счастье-то!

И наш барак номер 6, словно Ноев ковчег, где каждой твари по паре, плыл по волнам времени всё дальше и дальше в будущее. Через толщу времён.